



## **В. А. ГОЛЬЦЕВ**

### **А. П. Чехов**

(Опыт литературной характеристики) \*

Среди современных беллетристов, которые привлекают особенно сочувственное внимание читателей, и с именами которых связаны большие надежды нашей литературы, одно из наиболее выдающихся мест занимает Антон Павлович Чехов. Его повести и рассказы пользуются большой популярностью, расходятся во многих изданиях. Начавши с маленьких рассказов, — иногда просто живых и с юмором написанных анекдотов, — Чехов в сравнительно короткое время перешел к таким темам, — очень разнообразным, — которые представляют значительный психологический и общественный интерес. Расцвет его литературной деятельности лежит еще в будущем, но и того, что им уже написано, достаточно для признания за Чеховым своеобразного и сильного дарования. Наша критика занималась его произведениями, и указания на отзывы наиболее выдающихся писателей служат естественным введением к попытке дать литературную характеристику автора «Степи» и «Скучной истории».

«Газеты, — пишет А. М. Скабичевский, — выработали особенного рода литературный жанр мелких рассказов, эскизов, очерков, приноровленных по своей миниатюрности к размерам газетных столбцов». Самым главным мастером и, можно сказать, создателем этого жанра является А. П. Чехов. «Произведения Чехова, — продолжает критик, — при всей их фельетонной скороспелости, обнаруживают сильный талант, блещут художественностью и юмором. Но в них один существенный недостаток — отсутствие объединяющего идейного начала. Автор весь отдается мимолетным впечатлениям, спеша поскорее

---

\* Публичная лекция в пользу московского комитета грамотности.

выразить их в нескольких стах газетных строчек. Вследствие этого рядом с потрясающею драмой вы встречаете у него ряд анекдотов водевильного характера, написанных для того лишь, чтобы посмешить читателей газеты. Большие его произведения “Степь” и “Огни” отличаются тою же калейдоскопичностью и отсутствием идейного содержания; это не цельные произведения, а ряд бессвязных очерков, нанизанных на живую нитку фабулы рассказа»<sup>1</sup>.

Такой же по общему смыслу отзыв о произведениях Чехова дает Н. К. Михайловский. Говоря о сборнике рассказов «Хмурые люди», он приводит из них красивые описания, признает присутствие поэзии в этих рассказах, но замечает, что от книжки Чехова жизнью все-таки не веет. Дело, по мнению Н. К. Михайловского, может быть в том, что «г-ну Чехову все едино, что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца». «Г-н Чехов, — продолжает критик, — с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает»<sup>2</sup>.

В другой статье Н. К. Михайловский писал: «За многое можно ухватиться в рассказе г-на Чехова («Палата № 6»), именно поэтому ни за что нельзя ухватиться с уверенностью»<sup>3</sup>. Критик опять указывает на безразличие и безучастие, с какими Чехов «направляет свой превосходный художественный аппарат на ласточку и самоубийцу, на муху и слона, на слезы и воду».

Разбирая «Скучную историю», Н. К. Михайловский признает ее лучшим и замечательнейшим из всего написанного Чеховым. Это — трагедия, и хорошо поставленная трагедия. В повести критик отмечает хорошие, жизненные, глубоко задуманные сцены. «Оттого-то так хорош и жизненен этот рассказ, что в него вложена авторская боль: «...талант должен время от времени с ужасом ощущать тоску и тусклость *действительности*, должен ущемляться тоской по тому, что называется *общей идеей или богом живого человека*». Порождение такой тоски и есть “Скучная история”»<sup>4</sup>.

Я остановлю ваше внимание на отзывах об А. П. Чехове других писателей: К. К. Арсеньева, Л. Е. Оболенского, М. А. Протопопова и И. И. Иванова.

«С областью *происшествия* и анекдота, — пишет первый из этих критиков, — жанр, избранный г-ном Чеховым, граничит только одною своею стороною, другою он примыкает к сфере повести и романа»<sup>5</sup>. Чехову «удаются и декорации, увеличи-

\* Напомним, что «Критические этюды» К. К. Арсеньева вышли в 1888 г.

вающие эффект действия, и портреты, нарисованные немногими резкими штрихами; ему удается, в особенности, воспроизведение мгновенных душевных настроений, понятных без углублений в прошедшее действующих лиц, без всестороннего знакомства с ними». В рассказах Чехова находит для себя достаточно простора «психология простых людей, простых не по сословию или званию, а по малочисленности и несложности управляющих ими побуждений». Наконец, одною из сильных сторон Чехова критик признает описания природы. Чехов «обладает искусством олицетворять ее, заставляя ее жить точно человеческою жизнью и, вместе с тем, он свободен от подражания образцам, представляемым в этом отношении нашею и западноевропейскою литературами».

В свою очередь Л. Е. Оболенский, один из первых указавший на выдающийся талант Чехова, упрекает его при разборе драмы «Иванов» в отсутствии социологической точки зрения на жизнь и искусство<sup>6</sup>. Вследствие этого именно недостатка, полагает критик, в произведениях Чехова нет гармонии, того единства в разнообразии, которое составляет основное требование искусства.

В другой статье, напечатанной значительно ранее (в декабре 1886 г.)<sup>7</sup>, Л. Е. Оболенский говорит о Чехове по поводу первого сборника его мелких рассказов, сравнивая его произведения с повестями и рассказами В. Г. Короленко. «Сколько в рассказах Чехова, — пишет Л. Е. Оболенский, — жизни, сколько наблюдательности, сколько и юмора, и слез, и любви к человеку!». М. А. Протопопов говорит о Чехове в одном из своих «Писем о литературе» (Русская мысль. 1892. Кн. II): «Повесть г-на Чехова („Жена“), — пишет критик, — тем для наших целей и удобна, что тенденция ее широка и в то же время фальшива. Это не личная ошибка писателя, не обмолвка, — это некоторым образом знамение времени: равнодушие, вменяемое в достоинство, отсутствие определенных воззрений, поставляемое мудростью, беспринципность, возводимая в принцип, — это ли не характерные черты переживаемого нами момента?»

В январской книжке «Артиста» за 1894 год И. И. Иванов («Заметки читателя») указывает на то, что Чехов хочет дать характеристику ныне существующего поколения. «Другой вопрос — справедлива ли эта характеристика и точны ли авторские наблюдения. Одно несомненно, вопрос поставлен на определенную и в высшей степени любопытную почву, притом в современной литературе совершенно оригинальную. Наблюдения, кроме того, слагаются в образы, — живые, типичные,

свидетельствующие о несомненной психологической и художественной талантливости автора». В последних произведениях Чехова, по мнению И. И. Иванова, «подняты серьезнейшие вопросы общественного содержания, именно здесь с полною ясностью сказалось стремление литературы отдать отчет в знамениях времени». Герои этих произведений, представители современного поколения, — неврастеники и нытики, неспособные ни на одушевленный идеею труд, ни на глубокое одухотворенное чувство. Они-то и составляют, думает И. И. Иванов, печальное *знамение времени*.

---

Вы видите, что в приведенных отзывах много общего, но есть и важные различия, даже прямые противоположности. Один упрек Чехову выступает с особенною ясностью: ему ставят на вид отсутствие стройного миропонимания, следствием чего являются его безразличное отношение к людям и событиям, о которых он рассказывает, и случайность в выборе тем, которые составляют содержание его произведений. Если этот упрек справедлив, если художественный аппарат Чехова на самом деле безразлично направлен и на слезы, и на воду, то это, конечно, большой недостаток, который не может не понижать внутренней ценности многих и многих из повестей, рассказов и очерков Чехова, и вот почему. Та школа шестидесятых годов, которая предпочитала *идейное* искусство, вовсе не требовала, — и не могла, разумеется, требовать, — идейности, направления от каждого художника. Задаваясь вопросом, составляет ли высший идеал художественной деятельности беспристрастное, объективное творчество, Добролюбов в статье об *обломовщине* писал следующее: «Категорический ответ затруднителен и, во всяком случае, был бы несправедлив без ограничений и пояснений. Многим не нравится покойное отношение поэта к действительности, и они готовы тотчас же произнести резкий приговор о несимпатичности такого таланта. Мы понимаем естественность подобного приговора и, может быть, сами не чужды желания, чтобы автор побольше раздражал наши чувства, посильнее увлекал нас. Но мы сознаем, что желание это несколько обломовское, происходящее от склонности иметь постоянно руководителей даже в чувствах»<sup>8</sup>.

Лет шесть или семь назад, приведя в одной из своих статей эти слова Добролюбова, я прибавил, что склонность, о которой говорил знаменитый критик, и естественна, и законна:

«Никто из нас не достаточно авторитетен, чтобы руководить безукоризненно своими чувствами, потому что наши личные чувства воспитываются в общественной среде, преобразуются под многочисленными личными и общественными влияниями. Нам необходимо искать руководителей в том или в другом отношении. Непосредственно — воспитательное значение искусства очень велико, и мы вправе *желать*, чтобы художник разумно и честно воспользовался своим дарованием, чтоб он не зарыл его в землю и не послужил, прямо или косвенно, целям общественной неправды».

Вот здесь-то и лежит опасность для объективного, бесстрастного художника: он не только может тратить свое дарование на пустяки, на художественное изображение ничтожных предметов и действий, но и дать красивое изображение того, что может вызывать соблазн, заслуживать нравственное осуждение.

Наперед замечу, что не могу не согласиться с критиками Чехова, которые находят некоторую случайность в выборе им тем и бесполезную иногда трату большого дарования на воспроизведение ничтожных явлений. На это были свои условия, и надо надеяться, что художественное творчество Чехова вышло теперь на настоящую дорогу. Но от второго, гораздо более важного, упрека Чехов вполне свободен: его рассказы иной раз только смешили, не возбуждая серьезной мысли, но никогда и нигде, ни прямо, ни косвенно, не послужил он *общественной неправде*. Спасало его то достоинство, которого требовал от художника Чернышевский. «Кто имеет право, — писал Чернышевский, — требовать от поэта, чтобы он насиловал свой талант? Можно требовать только того, чтоб он старался развить себя как человека»<sup>9</sup>.

В произведениях Чехова чувствуется именно человек, и в доказательство этого я сделаю сейчас краткий обзор содержания его повестей и рассказов.

---

Рассказывает Чехов о том, как двое сотских глухой осенью, по грязной дороге ведут пойманного бродяжку («Мечты»). Устали все трое, присели отдохнуть. Бродяга размечтался, как хорошо ему будет жить на поселении. «Поставлю сруб, братцы, — говорит он, — образцов накуплю... Бог даст, оженюсь, деточки у меня будут».

«Как ни наивны мечтания бродяги, — замечает автор, — но они высказываются таким искренним, задушевым тоном, что трудно не верить им. Маленький ротик бродяги перекосило улыбкой, а все лицо и глаза, и носик застыли и оступели от блаженного предвкушения далекого счастья. Сотские слушают и глядят на него серьезно, не без участия. Они тоже верят».

Ездит по городу извозчик Иона Потапов («Тоска»). Умер у него сын в больнице, взрослый, единственный. И хочется старику рассказать кому-либо, — седоку ли, дворнику ли, — о своем горе. Но никому оно не интересно, никто не хочет о нем слушать. И томится Иона невысказанною мукой. Ночь настала. Лег спать старик, но не спится ему. Он одевается и идет посмотреть лошадь.

«— Жуешь? — спрашивает Иона у лошадки. — Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж я стал ездить. Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...»

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат, кобылочка... Нету Козьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина.

Иона увлекается и рассказывает ей все...»

В рассказе «Горе» старый и пьяный токарь везет к доктору больную жену. Дорогой она умирает, и в душе токаря встает тяжелое раскаяние, глубокая жалость к заколоченной и замученной им женщине. Это душевное состояние передано Чеховым со свойственною ему силой, сжатостью и безыскусственностью.

«А ведь она по миру ходила! — вспоминает токарь. — Сам я посылал ее хлеба у людей просить. Комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я и взаправду такой».

И токарь мечтает, как бы хорошо жить сызнова.

Вспомните рассказ о том, как бедного, умиравшего с голоду ребенка два сострадательных господина в цилиндрах, потехи ради, обкормили устрицами...<sup>10</sup> А сколько теплого, горячего сочувствия людям в рассказе «Письмо», где пьяненький, попавший под суд священник уговаривает дьякона не посылать к сыну строго-укорительного письма. «Прямо так возьми и напиши ему: прощаю тебя, Петр! Он пойме-от! Почувствует! Я,

брат... я, дьякон, по себе это понимаю. Когда жил, как люди, и горя мне было мало, а теперь, когда образ и подобие потерял, только одного и хочу, чтоб меня добрые люди простили. Да и рассуди, не праведников прощать надо, а грешников. Для чего тебе старушку свою прощать, ежели она не грешная? Нет, ты такого прости, на которого глядеть жалко... Да!»

Читаете вы этот маленький, рассказ и душа ваша наполняется умилением. Этот беспутный попик гуманнее, справедливее, поступает в данном случае более по-христиански, чем безукоризненный отец благочинный, который продиктовал дьякону грозное письмо к сыну. Та же глубоко гуманная нота ярко звучит в рассказе «Припадок».

Всегда и везде симпатии Чехова на стороне униженных и оскорбленных, на стороне искренности и правды, против условного лицемерия и фарисейского благочестия. Прочтите рассказ «Бабы». В нем набожный Матвей Саввич, мещанин и съемщик садов, рассказывает, как он, «живя согласно с строгою моралью», гнусным образом погубил полюбившую его жену соседа. Симпатий своих Чехов не подчеркивает, от себя не говорит ни слова, и осуждают безнравственного святошу только *бабы*, выведенные в рассказе; но ошибиться в том, куда именно направлено сочувствие автора и на что он негодует по моему, невозможно. Объективная форма рассказа в данном случае, пожалуй, усиливает впечатление, возбуждает в читателе страстное отвращение к пользующемуся почетом Матвею Саввичу.

Посмотрите, как нежно, с какой любовью описывает Чехов детей, — новое доказательство той глубокой гуманности, которую проникнуты его произведения. Вот тринадцатилетняя *нянька* Варька<sup>11</sup>, забитая, запуганная в семье сапожника. Днем ей нет минуты, чтобы присесть и отдохнуть, ночью она должна укачивать ребенка. Бедная девочка доводится до сумасшествия. Ей мучительно, до безумия *спать хочется*, и в этом состоянии Варька душит плачущего ребенка. «Задушив его, она быстро ложится на пол, *смеется от радости, что ей можно спать*, и через минуту спит уж крепко, как мертвая».

Рассказ «Детвора», где тонко подмечены черты детских характеров, вызвал несколько весьма сочувственных отзывов и, вероятно, известен моим слушателям, и на нем поэтому останавливаться я не буду. Столь же художественно и правдиво написан рассказ «Событие», которое заключается в том, что рождаются котята, и это приводит детей в чрезвычайный восторг. Отмечу в этом маленьком рассказе следующее замечание Чехо-

ва, характерное для его отношения в людям и к природе: «В воспитании и в жизни детей домашние животные играют едва заметную, но несомненно благотворную роль, — говорит Чехов. — Кто из нас не помнит сильных, но великодушных псов, дармоедов-болонок, птиц, умиравших в неволе, тупоумных, но надменных индюков, кротких старух-кошек, прощавших нам, когда мы ради забавы наступали им на хвосты и причиняли им мучительную боль? Мне даже иногда кажется, — продолжает Чехов, — что терпение, верность, всепрощение и искренность, какие присущи нашим домашним тварям, действуют на ум ребенка гораздо сильнее и положительнее, чем длинные нотации сухого и бледного Карла Карловича или же туманные разглагольствования гувернантки, старающейся доказать ребятам, что вода состоит из кислорода и водорода».

Чехов вообще мастер описывать животных и природу. Укажу для примера на рассказ «Нахлебники», где выведены забитая старая лошадь и полудохлая собака Лыска. Уменье слиться с природой, олицетворить ее, в общей картине неразрывно соединить с жизнью этой природы жизнь людей особенно удачно, по моему мнению, обнаружил Чехов в большой и превосходной «истории одной поездки» («Степь»). В глазах читателя ярко встает эта степь и утром, и днем, и ночью, и в ясную погоду, и в грозу, и в ненастье. Вы чувствуете, как особенности степи вырабатывают и особенности в отношениях людей, так или иначе связанных со степью. Вы видите этих людей, понимаете, что в степи должны быть они именно такими, что власть природы накладывает свою руку и на характер человека, и на характер его хозяйственной деятельности. Никакие географические, этнографические и экономические описания не дают такой целостной и ясной картины степи и ее жителей, как эта «история одной поездки». И какие красивые, одухотворенные описания природы читаем мы в этой повести! Приведу один пример.

Едет бричка. «Точно она ехала назад, а не дальше: путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы еще тонули в лиловой дали и не было видно их конца; мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи, да коршун, солидно взмахивающий крыльями, летал над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании... Ни ветра, ни бодрого, свежего звука, ни облачка.

Но вот, наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши тер-

пение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, — я, мол, готово, — и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закрутился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой соломой, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманила солнце. По степи, вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекасти-поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось, как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из вида. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекасти-поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке».

Позвольте мне сопоставить с этим описанием картину той же степи, нарисованную другим художником, Левитовым.

«Чувствую я, — пишет Левитов, — что голову мою начинает жечь палящий жар степной. Удрученная своею скорбною думой, с каждым шагом развивавшеюся все печальнее и печальнее, она невыразимо страдала: какие-то проклятия слагались в ней, какая-то мука тяготела над ней и не давала возможности сообразить, луч ли солнечный бил в нее этою мукой, или какое-то смертное томление, обыкновенно примечаемое в пустыне, когда солнце зальет ее потоками своего палящего света, заставляет ее страдать?»

И действительно, самое равнодушное сердце не могло не биться усиленно при виде этой картины одного общего, всецелого, так сказать, страдания. И, казалось вам, тем тяжелее страдала природа, что не было слышно ни одного звука, обыкновенного в этих случаях; только одни глаза видели во всем какую-то удушающую, гнетущую полноту...

Придорожные ветлы, как человек в нежданном несчастье, распустили свои запыленные ветви и молчаливо стояли, будто окаменели. Десятки птиц унизали их кривые сучья. Идете вы и видите, как какой-нибудь ворон, в другое время чуткий и пугливый, теперь и не думает примечать вас. Вцепился он острыми когтями в древесную кору, раздвинул серые крылья и озадаченно смотрит на вас, удивляясь, по-видимому, вашей охоте топтаться в такую мучительную пору. Навстречу вам время от времени побежит тощая, искалеченная, с перебитою ногой, собака, с хвостом, волочащимся по земле. И в глазах животного видна та же мука. Так жалобно посмотрела на вас

собака, так выразительно замахала хвостом, что будто просила вас помочь как-нибудь ее перебитой ногое.

А по обеим сторонам степной дороги, из золотых волн ржи, мелькают белые рубахи на трудящихся спинах людей. Вам не видно красных, изможденных лиц этих людей, покрытых кровавым потом, — и лучше!

И все это как-то неприязненно молчит молчанием мертвеца, словно по чьему-нибудь строгому запрещению...

Но прихотливы бывают дорожные думы... Идете вы и думаете: что было бы, ежели бы все это, не вынеся своей тяжелой боли, вскрикнуло вдруг?»<sup>12</sup>

Картина степного зноя у Чехова сжатее, образнее, красивее; но я хочу обратить ваше внимание на другую особенность Чехова в изображении природы. Описание Левитова субъективно: он сам и люди вообще играют преобладающую роль; Чехов является пантеистом, в его степи человек — одно из множества явлений, равноправных с другими<sup>13</sup>. Мне кажется, что такое миропонимание разлито и в других произведениях этого даровитого писателя. В рассказе «Перекасти-поле», который ведется от первого лица, есть такое рассуждение: «Не далее как на аршин от меня лежал скиталец; за стенами в номерах и на дворе, около телег, среди богомольцев не одна сотня таких же скитальцев ожидала утра, а еще дальше, если сумеешь представить себе всю русскую землю, какое множество таких же перекасти-поле, ища где лучше, шагало теперь по большим проселочным дорогам или, в ожидании рассвета, дремало в постоянных дворах, корчмах, гостиницах, на траве под небом... Засыпая, я воображал себе, как бы удивились и, быть может, даже обрадовались все эти люди, если бы нашли разум и язык, которые сумели бы доказать им, что *их жизнь так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая*».

Это мировоззрение принимает у Чехова печальный оттенок. В рассказе «Счастье» есть такое, например, место: «Проснувшиеся грачи, молча и в одиночку, летали над землей. Ни в ленивом полете этих долговечных птиц, ни в утре, которое повторяется аккуратно каждые сутки, ни в безграничности степи, — ни в чем не видно было смысла». Есть другое место, в другом произведении, о котором я уже говорил, в «Степи», гораздо более сильное: «Когда долго, не отрывая глаз, смотришь на глубокое небо, то почему-то мысли и душа сливаются в сознании одиночества. Начинаешь чувствовать себя непоправимо одиноким, и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далеким и не имеющим цены. Звезды, глядящие с неба уже тысячи

лет, само непонятное небо и мгла, равнодушная к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетет душу своим молчанием; приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной...»

Не правда ли, глубокою скорбью, трогательною печалью веет от этих строк?

Пойдем далее. В той же «Степи» говорится об одинокой могиле, в которой зарыт убитый и ограбленный купец. «В одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высшей степени поэтическое... Слышно, как он молчит, и в этом молчании чувствуется присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальней, и кажется, что кузнечики кричат сдержаннее...»

Те же ноты слышатся в размышлениях Рябовича (в рассказе «Поцелуй»). Тот контраст, который так удивительно изображен Пушкиным в элегии «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», часто останавливает на себе внимание Чехова. Вот умершего матроса (Гусева) завернули в саван-мешок и торжественно спускают в море. Не дошел до дна бедный матросик: перехватила его акула... «А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако, похожее на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя, рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с ним золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым... Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно».

Для понимания произведений Чехова я считаю очень важным эту точку зрения, а поэтому еще немного задержу ваше внимание на вопросе об его мировоззрении. В рассказе «Верочка» Огнев идет ночью, горячо простившись со стариком Кузнецовым и думает «о том, как часто приходится в жизни встречаться с хорошими людьми, и как жаль, что от этих встреч не остается ничего больше, кроме воспоминаний. Бывает так, что на горизонте мелькнут журавли, слабый ветер донесет их жалобно-восторженный крик, а через минуту с какою жадностью ни вглядывайся в синюю даль, не увидишь ни точки, не услы-

пишь ни звука; так точно люди с их лицами и речами мелькают в жизни и утопают в нашем прошлом, не оставляя ничего больше, кроме ничтожных следов памяти».

Теперь вспомните, что Чехов — медик по профессии, и вам станет многое понятно в его художественном творчестве, многие из упреков критики, на первый взгляд основательные, должны быть смягчены, а другие нельзя не признать и совсем небезосновательными. Талантливый беллетрист поступает иногда как талантливый и добросовестный земский врач: быстро поставив диагноз труднобольному, он переходит к другому, который воображает, что он болен, и возбуждает либо смех, либо досаду, и т. п. В приемах Чехова, в простоте, ясности и точности изображения, мы также узнаем естествоиспытателя. В его повестях и рассказах часто встречаются больные люди со сложными движениями ненормальной души. Как врач он спокойнее относится к людским страданиям, но не может не останавливаться на таких явлениях, когда болезнь неожиданно и негаданно уносит цветущую, полную надежд молодую жизнь (рассказ «Тиф»).

---

Не только отдельно взятые люди и не одна природа привлекают внимание Чехова. Реже, гораздо реже, но все-таки встречаются у него картины общественной жизни, полные глубокого смысла, вызывающие у автора скорбные мысли. Прокурор, например, в рассказе «Дома» вспоминает об исключенных из гимназии и не может не признать, что наказание очень часто приносит гораздо больше зла, чем само преступление. «Животный организм, полагает прокурор, обладает способностью быстро приспосабливаться, привыкать и приноживаться к какой угодно атмосфере, иначе человек должен был бы каждую минуту чувствовать, какую неразумную подкладку нередко имеет его разумная деятельность и как еще мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по результатам деятельности, как педагогическая, юридическая, литературная»...<sup>14</sup>

Отметим это «еще мало осмысленной правды и уверенности» как луч тепла и надежды в печальном миропонимании, которое мы имели основание предположить в авторе «Скучной истории». Как художник Чехов может опоэтизировать горе, самую смерть. Описывая, например, смерть ребенка в семье доктора, Чехов говорит: «Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальном. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежа-

ло что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать, и которую умеет передавать только музыка («Враги»).

Эта поэтизация горя может, конечно, вести к крайне вредным результатам, стать весьма прискорбною односторонностью; но Чехов свободен от такой односторонности. В том же рассказе он говорит: «Несчастливые эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, прodelывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной».

Несправедливость и жестокость развиваются, конечно, в благоприятной для них ненормальной общественной среде. Чехов мастерски описывает нашу городскую (уездную) жизнь, в которой нет никаких духовных интересов, где дремлет мысль, где замирают добрые порывы людей, пришедших туда и с образованием, и с желанием трудиться. Такую картину видим мы и в «Палате № 6», и в других рассказах, например, в «Мыслителе». В рассказе «Злоумышленник» с потрясающей силой и удивительную простотой передана судебная трагедия: мужик отвинчивал гайки у рельсов железной дороги; гайки нужны ему для рыбной ловли, и он никак не может понять, что это тяжкое преступление, что за это ему грозит острог.

Есть у Чехова маленький рассказик, всего в три странички, — «Отставной раб», где с необыкновенною яркостью изображено то нравственное искалечение, которому подвергались люди при крепостном праве. Я не стану приводить его содержание и упоминаю о нем лишь затем, чтобы привести новое доказательство того, что Чехов хорошо понимает зло несправедливых и несвободных общественных условий, хоть и редко затрагивает такие темы. Такое же впечатление производит и рассказ «Капитанский мундир», в котором портной Меркулов с умилением сообщает, что капитан, не заплативший ему за мундир, бил его точно так же, как в счастливые для рабьей души времена бивал Меркулова барон Шпунцель...

Затронут у Чехова и другой важный вопрос. В рассказе «Неприятность» мировой судья говорит, что «в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции и мужиков, т. е. среди этих двух крайностей, и только». Весьма трудно найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика... Земский доктор замечает на это, что иначе и быть не

может, что у такого *среднего человека* нет ни образования, ни собственности; «читать и ходить в церковь ему некогда, нас он не слышит, потому что мы не допускаем его к себе близко. Так он и живет изо дня в день до самой смерти без надежд на лучшее, обедая впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципам?»

Я далеко не исчерпал, конечно, содержания произведений Чехова, да это и невозможно в пределах публичной лекции. Дарование этого писателя находится в расцвете и полная оценка его художественной деятельности еще впереди. Мы замечаем в последнее время расширение круга его наблюдений и углубление содержания его повестей и рассказов. «Рассказ неизвестного человека» дает нам замечательно удачную картину известной части петербургского бюрократического мира. Хорошо задуман, но не вполне безукоризненно нарисован герой рассказа — бывший революционер. А. М. Скабичевский, довольно сурово относившийся к Чехову, считает выведенный им в «Бабьем царстве» тип Анны Акимовны самым замечательным типом среди купеческой среды после комедий Островского<sup>15</sup>.

Нет оснований опасаться, что в дальнейших своих произведениях Чехов будет случайно выбирать темы, расточая свои силы на изображение ничтожных явлений, хотя, — спешу прибавить, — возбудить остроумною шуткой, в художественной форме, здоровый смех есть немаловажная заслуга. Юмор Чехова отличается нередко заразительною веселостью и возбуждает в читателе хорошее, светлое настроение. Эта драгоценная особенность его таланта спасает его от избытка пессимизма, от налета горькой скорби в виду массы случайного и жестокого...

Я передам, в немногих словах, один из юмористических рассказов Чехова ввиду того, что в этот, с первого взгляда анекдот, заключена, мне кажется, серьезная мысль. К сожалению, рассказ в передаче будет, конечно, испорчен.

В кабинет доктора Кошелькова («Произведение искусства») входит молодой человек Смирнов. Доктор вылечил юношу, и вот его мать, покойный муж которой торговал старинною бронзой, посылает доктору в благодарность канделябр действительно художественной работы, но с непристойными женскими фигурами. Доктор посмотрел на подарок.

«— Да, вещь, действительно, прекрасная, — пробормотал он, — но... как бы выразиться, не тово... не литературна слишком... Это уж не декольте, а черт знает что...»

Молодой человек пристает к доктору, убеждая его быть выше толпы. У самого Смирнова от созерцания этого канделябра «душу наполняет благоговейное чувство, и к горлу подступают слезы». Avis нашим декадентам.

Смирнов жалеет только о том, что у них нет пары для этого канделябра, и он навязывает таки его доктору.

Кошельков в недоумении: оставить у себя на квартире такое *произведение искусства*, конечно, дело невозможное.

Везет он канделябр к адвокату Ухову. Тот приходит в неописанный восторг, но принимать подарка не соглашается:

«У меня бывают тут мать, клиенты... да и от прислуги советно...»

Доктор, однако, насильно оставляет свой канделябр, а адвокат придумывает подарить его бенефицианту, комику Шашкину. Шашкин также в восторге и также не желает оставлять у себя этого *художественного произведения*. Он продает его старухе, торгующей бронзой.

Через два дня в квартиру доктора Кошелькова является улыбающийся, счастливый Саша Смирнов.

«Доктор! — начал он, задыхаясь. — Представьте мою радость! На ваше счастье, нам удалось приобрести пару для вашего канделябра! Мамаша так счастлива... Я единственный сын у матери... вы спасли мне жизнь...»

Того, кто написал эту милую шутку, этот полный смысла анекдот, не увлечет одна форма, тот потребует от действительно художественного произведения чистоты и правды.

Этими качествами отличаются рассказы и повести Чехова. От них веет правдивостью, он не описывает того, чего не видел, не знал, не переживал. Его пессимистическое мировоззрение не принимает гнетущего характера, нигде у него не звучит отчаяние. Живая любовь к живому человеку и тонкое художественное чутье, с каким Чехов любит и человека, и природу, придают его думам о случайности и быстротечности жизни печальный, но мягкий оттенок, подобный тому миропониманию, которое разлито в произведениях Тургенева. Симпатия к слабому, негодование к сильному злему — вот что часто выносишь из рассказов Чехова; ни на одну дурную мысль они не натолкнут, никакого скверного побуждения не вызовут. Чувствуется в них недостаток мужественных, призывных нот, — и понятно почему: отдельно взятый человек — ничтожный атом в вечном мировом круговороте. В виду бездонного

неба он, одинокий, действительно должен испытывать либо ужас, либо глубокую печаль. Но в том-то и дело, что человек не одинок. Любовью, дружбою, идеями связаны между собою люди, и, опираясь друг на друга, они имеют полное основание смотреть на историческую даль с бодрою надеждой, с сознательным упованием. Идти рядами и шеренгами, при свете науки, под знаменем общественного и личного идеала, значит удесятывать свои силы, значит бесконечно ускорять победу на земле добра, справедливости и самой красоты. Изображать в художественных произведениях движения человеческой души в общественных условиях, изображать общественное движение, в котором выступает и личность, и масса, — составляет высокую задачу искусства. Будет ли при этом писатель объективным художником или пророком освобождения, — этот вопрос решается не требованиями со стороны, но самою природою художника. Критика должна требовать одного, — того, о чем говорил Чернышевский: художник *должен* развивать в себе *человека*. Это требование Чеховым исполнено. Но если нельзя предъявлять других *требований*, то можно высказывать горячие желания. Пожелаем же, чтобы художник-человек был и художником-гражданином.

Художественное произведение, написанное человеком, который любит простоту и правду, который любит людей, доставит, конечно, и эстетическое наслаждение, и нравственное удовлетворение. Оно поддержит иной раз слабеющую энергию или потухающий гнев. Но если принять во внимание, как мало, сравнительно говоря, число людей, живущих отвлеченными идеями, способных увлекаться принципами, то станет понятным желание искать помощи у искусства для более определенного воздействия на общество, для воспитания в нем не только добрых чувств, но и гражданских стремлений. Служение красоте и правде вызывает глубокое уважение. Это уважение только усилится, если художник, вместе с тем, послужит и делу общественной справедливости, если он даст нам в прекрасных формах не только изображение действительности, ее мутных волн или ее гниющего болота, но подметит и осветит новые, свежие течения, — а ведь они несомненно существуют, — если он укажет нам широкие пути к разумному, человеческому счастью, которого нет и быть не может без энергичного труда ради общественной правды, без честной борьбы ради народного счастья.

